



ВАГНЕР

МУЗЫКАНТЫ ВОЙНЫ

**ВЯЧЕСЛАВ
КУЛИКОВ**

18+

Вячеслав Викторович Куликов

Вагнера. Музыканты войны

Серия «Время Z»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74256641

Вагнера. Музыканты войны : мемуары / Вячеслав Куликов: АСТ;

«Ленинград»; Москва; 2026

ISBN 978-5-17-187986-0

Аннотация

«Добро пожаловать в ад» – встречает надпись на въезде. *«Вернётся каждый десятый»* – эту фразу новобранцы слышат в учебке. Они ещё не знают, что обе надписи станут их судьбой.

Перед вами – книга, основанная на реальном боевом опыте. Вы пройдёте путь от зелёного курсанта до штурмовика, увидите окопы Бахмута, госпитальные палаты и перевалочные пункты. Окажетесь по ту сторону таблички – в мире, где война закончилась, но борьба продолжается.

Эта книга написана человеком, который прошёл всё сам: от учебки до инвалидной коляски, от капельницы до реабилитационного центра, созданного для таких же, как он.

О тех, кто стал музыкантом. О цене, которую платят. О том, что остаётся за кадром новостей. Жёстко и честно. С чёрным юмором и болью.

Вся жизнь – движение вперёд! Даже когда кажется, что сил больше нет.

Содержание

Табличка	8
Инструктор	14
«Грибы»	23
Часть первая	23
Часть вторая	29
Часть третья	33
Часть четвёртая	36
Часть пятая	39
Конец ознакомительного фрагмента.	41

**Вячеслав Куликов
Вагнера. Музыканты
войны. Мемуары**

ВРЕМЯ

Z

Серия «Время Z»



При оформлении издания использованы фотоматериалы РИА Новости Медиабанк <https://riamediabank.ru/> (Станислава Красильникова) и иллюстрация Вячеслава Куликова

Ленинград **издательский дом**

© Вячеслав Куликов, 2026

© ООО «Издательство АСТ», 2026

Табличка

Мы выезжаем из Луганской области. За окном – пьянящее, невозможное лето. Я еду домой. Я живой. Я только сейчас начинаю это осознавать, кожей чувствуя тепло, которого не было там, за чертой. Щит мелькает за стеклом. Ржавый, кривой. С этой стороны – просто металл, надпись «Луганская область» перечеркнута красной чертой, изъеденный временем и дорожной солью. Но я помню его обратную сторону, как помню линию прицела. Там, для въезжающих, кривыми буквами выведено: «Добро пожаловать в ад». Мы читали эту фразу тогда, в кузове «Урала», смеясь от нахлынувшего адреналина. Бойцы ЧВК – романтики, бойцы за Родину и справедливость.

Дальше было подписание контракта и первый инструктаж: выживет каждый десятый, еды, курева, сладкого и обмундирования будет в достатке, каждый из вас, кто останется живой, будет не раз ранен, но вернётся домой – всё было правдой.

Первые дни на блокпосту, после ранения. Стою, щурясь на мирную, утопавшую в сирени улицу. Спрашиваю у командира, вчерашнего десантника с пустыми глазами: «А где, собственно, хохлы? Где враг?» Он, не отрываясь, бросает через плечо: «Тут кругом враг. Вон, видишь, дед с палочкой? Сейчас он мирный. А ночью может приползти, как крыса.

Мне как-то такой часы принёс. Говорит: «Сынок, кто-то из ваших потерял». А на обратной стороне гравировка: «Ване от мамы». Я велел положить у шлагбаума. Следом ехал особист, блеск на солнце заметил. Я объяснил. Он взял да в колодец – бултых. Через десять минут прилетел «Хаймарс». Маячок, значит, был. А дед – такой благостный, с иконкой».

Тот ад был честным. В учебке, где из тебя выбивали гражданское нутро бегом по ночному лесу под звёздами, кишащими спутниками и дронами. В подвале шахтоуправления в Горловке – нашем ПВД, где пахло сыростью, табаком и страхом. Где на нарах, рассчитанных на сотню, копошилась жизнь, обречённая на уголь. На снарядных ящиках – фотографии жён и детей, рядом – недоеденный паёк. Каждый, кто ушёл отсюда в сторону фронта, не вернулся. Этот подвал был преддверием, точкой невозврата. Здесь смерть ещё пахла не кровью, а оставленными вещами, пустотой после человека.

А потом – «передок». Война встретила нас сразу: выпрыгивание из машины под обстрелом в кромешную тьму. Через месяц начинаешь видеть в темноте как кошка. Смерть стала твоей тенью. Лишь редкие осколки памяти вонзаются в сознание, не давая забыть, что ты ещё человек. Где ценность менялась со скоростью сброшенного рюкзака. От вещей для комфорта до жизни собственной, и от ценности своей жизни к ценности жизни товарища, который прикроет тебя. Где правдой были слова командира при контракте: «Вернётся каждый десятый. Вы все уже покойники. Так умрите

мужиками!» И где последней истиной становилась не твоя жизнь, а жизнь твоего товарища, прикрывающего тебя спиной.

Осколки того ада до сих пор вонзаются в мозг, когда закрываю глаза. Один такой осколок – боец лет тридцати пяти. Заскочил в наш окоп на пятнадцать минут, пока били миномёты. Успел рассказать всю жизнь. Двое детей, две недели до конца контракта, бесконечная любовь к жене. Обстрел затих. «Бегу, ребята», – сказал он. Поднялся из окопа, обернулся, что-то ещё кричал про семью. И вдруг – хлопок, как будто лопнул надутый пакет. Он продолжал говорить, двигать губами, но у него не было верхней части черепа. Он был мёртв, а ещё что-то говорил. Брызги мозгов и крови на моём бушлате.

Командир, мёрзлыми ногами шагающий под обстрелом навстречу своей последней атаке.

А ещё – два раненых пацана. Не тяжело. Нас, тяжёлых, должны были эвакуировать из окружения. «Давайте с нами!» – кричал я им. Они понимали, что остаться – погибнуть. Посмотрели друг на друга. «Куда мы, – сказал старший. – Будем стоять». Это был самый страшный и самый чистый подвиг – знать и не уйти.

«Передок» – это ад, который нельзя описать. Его можно только пережить. Или не пережить.

А теперь я еду домой. Мимо ржавой таблички, на обратной стороне которой когда-то для нас сияла адская любез-

ность.

Я ещё не знал тогда, что ад – он разный. Тот, что позади, был из огня, крови и братства. А тот, что впереди, оказался из тишины, равнодушия и белых стен. Два года больниц, инвалидная коляска, предательство тех, кто испугался, что ты – напоминание о том, о чём думать не хочется. Застолья на фуршетах с фальшивыми тостами «за своих». Равнодушие врачей, чиновников, целого мира, у которого другие ценности.

Я вырвался. Через ранение, через хаос полевого госпиталя в Луганской области. Запомнив его навсегда: холодный бетонный пол, по которому растекались лужи крови. Грязь. Лица, чёрные от пороха и усталости. И запах – смесь йода, пота и адреналина, выдыхаемого вместе с обрывочными рассказами «только что из боя». А рядом, у чистенького столика дежурного врача, – кучка бородатых в идеально отглаженной форме, от которых пахло дорогим парфюмом. Они привезли «своего» с пулевым в мягкие ткани, громко оформляли страховую выплату. Их мир был другим. Параллельным.

И вот я здесь. За табличкой. Где вместо воя «Градов» – оглушительная музыка из ларьков и запах шашлыка. Где меня ждал свой, домашний ад. Здесь, по эту сторону щита, где лето пахнет липой, а не гарью, ценны только деньги. Всё остальное – фальшь, игра в патриотизм, откупные лозунги. Здесь, в аду равнодушия, я окончательно понял: настоящая война осталась там, с той стороны ржавой таблички. Вместе

с теми, кто не вернулся домой.

«Власть поменялась», – сказали мои лучшие друзья, встречая меня на пороге моего же дома. Пасынок-адвокат, пока я был там, стал хозяином всего моего имущества. Оформил жильё на себя. «Твой дом теперь не твой. И вообще, – добавил пасынок, избегая моего взгляда, – я тебя туда не отправлял. Вы все – герои поневоле».

Герои. Их лица теперь смотрят с каждого рекламного щита. Те самые бородатые, ухоженные, с чистых фотографий. «Героя надо знать в лицо!». А тех, кто вонял порохом и лежал на холодном полу, тех, кто получил коляски и протезы, – тех старательно забывают. Им пишут в документах «потеря конечности по общему заболеванию», лишь бы не оформлять инвалидность по ранению. Из сочувствия, говорят. Что-бы не портили статистику.

Встретил как-то нашего бойца на передовой. «Опять на передовой? – спрашиваю. – Через месяц после того, как у тебя закончился контракт». Продолжаю расспрос: «Ты как здесь? Семья, дети?» Он усмехнулся: «Пусто. Приехал за настоящими отношениями. Здесь понятней: враг – он всегда перед тобой. И каждый отвечает за свой выбор жизнью». Он пошёл мстить за предательство, которого не было на войне, но которое расцвело пышным цветом здесь, в этом «мирном» аду.

Здесь кипят другие битвы. Общественные организации снимают фотоотчёты, как отправляют «гуманитарку на пе-

редовую» – стиральные машинки, видимо, жизненно необходимые в окопе. Но помочь тому, кто вернулся в инвалидной коляске, неинтересно. Нельзя. Не «патриотично». Фуршеты, концерты «за своих», флажки в Instagram. В глазах – только деньги. На устах – «за победу». Сплошная, оглушающая ложь, в которой тонешь, как в трясине.

И я понимаю теперь. Тот ад за ржавой табличкой был адом смерти, но и адом предельной правды, братства, последней ясности. Этот ад здесь – ад забвения, предательства и тихого, будничного убийства душ. Ад, где господа, призывавшие «бороться до конца», жили в подвалах лишь на словах, а на деле – в тепле и довольстве. Где друзья уходят к победителю, потому что «ты теперь инвалид», а он – «при деньгах». Где пасынок готов убить отчима – инвалида СВО – за горухлама.

Машина набирает скорость. Лето за окном слепит. Я закрываю глаза и вижу не солнце, а ту самую табличку. Она поворачивается ко мне, как страшный калейдоскоп, обеими сторонами сразу: «Добро пожаловать в ад» и «Прощай». Одна надпись – для въезжающих туда. Другая – для возвращающихся сюда. И оба раза она значит одно и то же.

Инструктор

Инструктор появился перед нами как явление природы, причём явление запоздалое и крайне суровое. С виду он походил не столько на обстрелянного былинного богатыря, сколько на сказочного разбойника, которому надоело грабить, и он пошёл на государственную службу от скуки. Лицо его хранило следы многочисленных перекопок, глаз смотрел так, будто собеседник уже лежит в воронке и только делает вид, что живой.

– Значит, так, – сказал он, окинув взглядом три десятка добровольцев, прибывших защищать Родину и заодно проверить, действительно ли она так бескрайна, как пишут в учебниках. – Вы, я вижу, насмотрелись телевизора. Думаете, война – это счастливые лица в чистой форме, бритые подбородки и бодрые рапорты о взятии высот? Ошибаетесь. Форма у вас будет, но чистой она пробудет ровно до первого чернозёма. А чернозём здесь, – он сделал паузу, давая нам прочувствовать величие момента, – особенный. Он оказался прав. Украина, которую мы представляли по школьному Тарасу Шевченко как край пьянящих трав и безбрежных нив, на поверку явила нам чернозёмное бешенство. Это была субстанция, не описанная в учебниках географии. Чернозём вел себя как живое существо: он засасывал берцы, хватал за голенища и категорически отказывался отпускать добычу.

– Война, – продолжал инструктор, расхаживая перед строем с таким видом, будто репетировал эту лекцию лет десять, – это даже не тот, кто лучше стреляет. В кино вы видели ковбойские вестерны: первый выстрелил, попал в муху, все упали, оркестр играет туш. Или китайские боевики: крик «мяу», ребро ладони, шея хрустит – враг повержен, можно пить чай. Забудьте. Война – это тот, кто умеет бегать как горный козёл, причем бегать весь контракт. И копать. Копать чем угодно: шомполом, консервной банкой, зубной щеткой, на худой конец – носом. Потому что лопаты у вас, конечно, не будет. Лопата – это миф, предмет культа, о ней рассказывают бывалые, но никто её никогда не видел.

Мы слушали и записывали на подкорку.

– И ещё, – добавил инструктор, понизив голос до доверительного шёпота. – Мыслить вам теперь не положено. Военный человек – это человек, у которого функцию мышления заменили на функцию исполнения. Будешь думать – погибнешь. И хорошо, если быстро, а то будешь лежать в чернозёме и думать: «А зачем я, дурак, подумал?» Побеждает тот, кому эту дурацкую идею – думать – выбили из башки ещё в учебке.

С фонарями такая же история. Не дам я вам фонари. Не нужны они. Ночь здесь, знаете ли, темна и, как верно подметил классик, украинская. А под звёздами и без фонаря видно – через месяц привыкнете. И видеть будете не хуже филина, и на ветки перестанете натекаться. А если дать фонарь – вы

его включите, и враг вас сразу заметит. И какой тогда смысл был в «темна украинская ночь», спрашивается?

Мы загрузили. Без фонарей, без лопат, без права на размышление. Оставался только юмор.

– Кстати, о юморе, – сказал инструктор, будто прочитав наши мысли. – Один мудрый еврей, провожавший меня когда-то на срочную службу в те времена, когда СССР ещё был, а я ещё был молод и глуп, сказал мне фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Он сказал: «Сынок, вы в детстве бегали по двору с деревянными пистолетами и орали «пух-пух, ты убит». Пистолеты стали настоящими, патроны – боевыми, смерть – не игрушечной. Но игра, сынок, осталась той же. И если ты не будешь относиться к ней с юмором – тебе станет невмоготу». С тех пор, – инструктор мечтательно прищурился, – я на войне как в санатории. Шучу. Смеюсь. Иногда плачу, но тоже с юмором.

Отдельной и, я бы сказал, возвышенной наукой в учебке стояло питание. Точнее, то, что нам предлагали считать питанием, а мы, по молодости и наивности, ещё пытались называть едой. Инструктор подошел к вопросу с характерным для него размахом диалектика.

– Вы, я вижу, приехали сюда с мамиными пирожками. У кого-то в рюкзаке, я уверен, завалилась банка домашних огурцов, а кто-то, – он прищурился на крайнего справа, – вообще везёт с собой пол-литра сгущенки, надеясь пить чай по вечерам.

Крайний справа покраснел и попытался спрятать сгущёнку за спину, но было поздно.

– Запомните раз и навсегда. Домашние пирожки – это прекрасно. Пирожки – это любовь, забота, детство, воспоминания о бабушке. Но здесь пирожки – это враг. Они крошатся. Они пахнут. Они привлекают не только товарищей, но и, извините, мышей. А мыши на войне – это уже диверсионно-разведывательная группа. За мышью придёт кот. За котом – любитель кошек. И вместо ночного боевого выхода у вас будет ночная охота за чужим котом, который на самом деле ничей. Так что давайте сразу без нежности.

Пирожки были изъяты.

– Теперь о главном, – продолжил инструктор, доставая из кармана пластиковую бутылку, выдавшую виды и, кажется, помнившую еще Олимпиаду–80. – Вода. В гражданской жизни вы потребляли воду так, будто она течет из крана бесконечно. Вы мылись, стирали, поливали цветы и даже, я не исключаю, мыли посуду с открытым краном. Забудьте. Отныне ваша норма – бутылка на двоих. Хочешь – пей, хочешь – умывайся. Хочешь – умывайся питьем, хочешь – пей умывание. Это вопрос личной гигиенической философии.

Мы задумались. Философия оказалась сложной, особенно когда бутылка одна, а лиц двое, и оба с утра небритые.

– На передок, – голос инструктора стал мечтательным, как у геолога, вспоминающего трудные экспедиции, – воду доставляют редко. Чаще возят боеприпасы. Потому что бое-

припасы – это победа, а вода – это комфорт. Комфорт, дети мои, на войне излишен. Иногда, правда, привозят воду. Но замороженную. Большими такими кусками льда, которые надо грызть, оттаивать под мышками или, на крайний случай, разбивать прикладом.

Кто-то из нас, еще не утративший гражданской чистоплотности, робко поинтересовался насчет гигиены.

– Гигиена, – инструктор закатил глаза к небу, которое, как известно, равнодушно к бытовым вопросам, – гигиена – это когда у тебя сухие носки. Всё. Остальное – буржуазные излишества и происки вражеских маркетологов, придумавших шампунь с кондиционером.

Мы замолчали, поражённые простотой и величием этой формулы.

Впрочем, простота формулы выяснилась не сразу. Первую неделю мы ещё пытались соблюдать правила гражданской жизни: умываться по утрам, чистить зубы, менять носки. К концу второй недели умывание сократилось до ритуального смачивания лица из той самой общей бутылки. К концу третьей мы поняли, что сухие носки – это действительно роскошь, доступная лишь тем, кто догадался завернуть запасную пару в гермомешок, а не использовал его для конфискованной сгущёнки.

Баня, о которой мечтали романтики, существовала. Инструктор не врал. Баня была. Её организовали в землянке силами третьего взвода, и с инженерной точки зрения это бы-

ло сооружение гениальное и одновременно безнадежное, как проект вечного двигателя. В землянке поставили буржуйку, на буржуйку водрузили бак с водой, воду нагрели. Пар, следуя законам физики, устремился вверх. Но поскольку землянка – это, в сущности, большая нора с потолком в сорок сантиметров, пар уперся в потолок, недоумённо помедлил и растекся горизонтально, создав эффект тропического леса на уровне пояса. В этом лесу сидели голые бойцы и пытались мыться. Вода, разумеется, никуда не уходила. Землянка – это вам не городская квартира с канализацией. Вода стояла на полу, медленно подбираясь к щиколоткам, смешиваясь с чернозёмом и превращая процесс мытья в принятие грязевых ванн.

– Первый взвод моется, – объявил инструктор, заглянув в землянку и оценив масштаб гидротехнической катастрофы. – Вторым творят.

Что именно творят вторым, он уточнять не стал. Мы и так поняли: творят историю.

К концу месяца мы усвоили главное гигиеническое открытие современности. Лучшая баня – это влажные салфетки. Они не требуют воды, не оставляют луж, не парят, не топят и не создают ложных надежд на скорое возвращение к цивилизации. Они помещаются в нагрудный карман, их можно носить на теле, и они не замерзают – в отличие от воды, которую привозят раз в неделю и которую потом надо отбивать прикладом, как мамонтовую тушу.

Влажные салфетки стали нашими персональными Сандунами. Мы протирали лица, шеи, руки и, в особо торжественных случаях, подмышки. Мы экономили каждую салфетку, как партизаны экономили патроны. Мы передавали их друг другу по наследству. Мы знали, что на передке, где воду не возят вовсе, салфетка станет валютой, сравнимой разве что с батарейками для тепловизора.

– Тепло, – сказал инструктор как-то вечером, глядя, как мы пытаемся растопить буржуйку сырыми ветками. – Вы сейчас думаете: «Главное – тепло. Вот будет печка, тогда заживем». Ошибаетесь. Я вам больше скажу: тепло – это роскошь, к которой вы привыкли и от которой вам предстоит отвыкнуть. Через месяц вы поймете, что тепло в жизни – не главное. Главное – не наступить на мину, не попасть под «Град» и не проспать смену. А согреться можно и движением. Или, на худой конец, влажной салфеткой. Она, знаете ли, тоже греет, если её предварительно натереть.

Он не шутил. Через месяц мы действительно перестали мёрзнуть. Точнее, мы продолжали мёрзнуть, но перестали придавать этому значение. Холод стал фоном, как шум ветра или далёкие разрывы. Мы спали в одежде, потому что раздеться – значит замерзнуть, а проснуться по тревоге голым – значит умереть. Мы научились засыпать сидя, стоя, на ходу и даже, говорят, во время бега, хотя лично я такого рекорда не ставил.

Спать приходилось по шесть часов. Это был максимум,

отпущенный нам расписанием, тревогами, нарядами и внутренним убеждением инструктора, что сон – это тоже форма изнеженности.

– Шесть часов, – говорил он, – это санаторно-курортный режим. На передке будет два-три. А то и ни одного, если противник активный. Так что высыпайтесь сейчас. В смысле, не высыпайтесь, конечно, откуда вам выспаться, но старайтесь.

Мы старались. Мы падали на нары и отключались за секунду, как будто кто-то щёлкал рубильником. Мы спали под гул генератора, под храп соседа, под звуки вечерней поверки и утреннего подъёма. Мы спали так крепко, что однажды половина взвода проспала артиллерийский налёт учебного противника и была наказана внеочередной перекопкой чернотёма.

– Молодцы, – похвалил инструктор. – Хороший сон – признак чистой совести. И отсутствия фонарей.

И все-таки, несмотря на холод, грязь, недосып и гастрономические изыски в виде гречки с мясом неизвестного происхождения, мы держались. Мы смеялись над инструктором, над собой, над чернотёмом, над замёрзшей водой и над мышами, которые действительно приходили за пирожками и действительно, кажется, состояли на службе у противника.

Мы учились воевать. Или выживать. Что, в сущности, одно и то же.

– Живой, – подводил итог инструктор, глядя на наши чёрные от пыли и недосыпа лица, – это уже победа. Потому что

пока одна половина человечества изобретает средства убивать быстрее, точнее и с меньшим расходом калорий, другая половина – наша половина – учится выживать. И если для этого нужно есть паштет шомполом, мыть голову влажными салфетками и считать теплом собственную перегретую от бега кровь – значит, так тому и быть. Он помолчал. – А сгущёнку, кстати, я вам верну. В бою.

Мы не поверили. Но через месяц, на передке, когда кончился паёк, а вода превратилась в монолит, крайний справа достал из самого укромного уголка разгрузки ту самую банку, которую инструктор якобы конфисковал ещё в учебке.

Инструктор, оказывается, тоже умел шутить. Или, как говорят в Одессе, это была не конфискация, а реквизиция с правом последующего добровольного возвращения. В нужный момент. В нужный момент, когда живой – это уже победа, а сгущёнка – это почти счастье.

«Грибы»

*Посвящается тем,
кто выходил в строй и не вернулся.
Музыкантам, игравшим до конца.*

Часть первая Контракт

Всё началось в военкомате. Вернее, не в военкомате – туда нам с такими статьями было нельзя. В обычном офисном здании на окраине города, где на дверях не было вывесок, а в коридорах пахло свежим ремонтом и ещё чем-то неуловимо казённым.

Очередь была человек сорок. Разные лица: угрюмые, весёлые, испуганные, решительные. Кто-то в камуфляже, кто-то в спортивных костюмах, кто-то в деловых костюмах, буд-то на собеседование в банк пришёл.

Заполняли анкеты. Проходили медкомиссию – быстро, по-военному, без очередей и поликлинического хамства. Потом – беседа со службой безопасности. Вопросы были простые: судимости? долги? проблемы с законом? родственники за границей?

Я прошёл. Подписание контракта было похоже на сделку

с дьяволом.

Маленькая комната, стол, два стула. Кадровик – лысый мужик с уставшими глазами – подвинул мне бумаги.

– Читай. Если всё устраивает – подписывай.

Я читал. Срок – полгода. Условия – стандартные. Оплата – по результатам. В случае гибели – выплата семье. Всё чётко, без воды.

Подписал. Поставил дату. И почувствовал, как за спиной захлопнулась какая-то дверь. Обратного пути не было.

– Теперь позывной, – сказал кадровик. – Придумал?

Я замялся. Думал об этом, но в голову лезло что-то пафосное: Тигр, Сокол, Беркут.

– Все клёвые позывные уже разобрали, – усмехнулся кадровик. – У нас тут система: кто идёт на второй контракт – те выбирают сами. А новичкам – компьютер. Программа случайных чисел. Что выпадет – то и твоё.

Он щёлкнул мышкой, посмотрел на экран.

– Гвоздь, – сказал он. – Будешь Гвоздём.

– Гвоздь? – переспросил я.

– Гвоздь. Нормально. Коротко, звонко. Могло быть хуже.

– А что может быть хуже?

– Да всё что угодно. Вон у нас Септик есть. Латышка. Космос. Пельмень. Шпрот. Баклажан. В прошлом наборе одному мужику выпало Триппер. Ходил красный как рак, но ничего – повоевал, живой остался. На второй контракт уже сам выбрал – Волкодав.

Я рассмеялся. Кадровик тоже улыбнулся.

– Не парься, Гвоздь. Позывной – это не главное. Главное – что за ним стоит. Будь хорошим бойцом – и Гвоздь будет звучать гордо.

Потом выдали жетон – маленькая металлическая пластинка на цепочке. На одной стороне – буква и номер группы, через тире – мой номер в группе. На другой – просто цифры, какой-то личный код.

– Не потеряй, – сказал кадровик. – Это теперь твой паспорт. Если убьют – по нему опознают.

Я повесил жетон на шею. Он лёг под футболку, холодный и чужой.

Потом была экипировка. Склад, заваленный ящиками и коробками. Нас одевали с ног до головы – от носков и трусов до тактических очков и налобного фонаря. Всё новое, всё качественное, всё подогнали по размеру. – Держи, – протянул снабженец бронежилет. – Примеряй.

Бронежилет был тяжёлым, неудобным, чужим. Я надел его и почувствовал, как плечи просели к земле.

– Привыкнешь, – сказал снабженец. – Через месяц будешь в нём спать.

Я не поверил. Но он оказался прав.

Вечером нас построили во дворе.

– Слушай сюда! – орал старший команды. – Сейчас едем в учебку. Там будете месяц пахать, как проклятые. Инструкторы у нас – звери, но справедливые. Слушаться беспрекото-

словно. Вопросов не задавать. Делать, что скажут. Если кто думает, что он крутой и всё знает – сразу забудьте. Здесь все равны. Здесь все – мясо. Из мяса делают бойцов.

Он обвёл нас взглядом.

– Машины подадут через час. Кто хочет – может позвонить домой. Но коротко. Сказал, что всё нормально, что уезжаешь в командировку. Без соплей, без сантиментов. Всё.

Машины пришли через час. «Уралы» – старые, выдавшие виды, с брезентовым верхом и разбитыми амортизаторами. Мы загружались в темноте, молча, сосредоточенно.

Тридцать человек в кузов. Плюс ящики с боеприпасами – на первое время. Плюс наши рюкзаки, которые казались неподъёмными. Плюс оружие – пока учебное, но всё равно тяжёлое.

Загрузились так плотно, что пошевелиться было невозможно. Кто-то сидел на корточках, прижатый к борту. Кто-то стоял, вцепившись в тент. Кто-то лежал на ящиках, потому что больше негде. Рюкзаки давили со всех сторон, автоматы упирались стволами в каски, ноги затекали, спины немели.

– Готовы? – крикнул водитель.

– Готовы! – заорали мы хором.

Машина дернулась и поехала.

Дорога была долгой.

Часа два или три – никто не считал. Мы тряслись в темноте, как сельди в бочке, только сельди были живые и матерились.

Первые же кочки перемешали всё. Мы, такие плотно упакованные, вдруг стали единой массой – люди, вещи, оружие, ящики. Кого-то бросило влево, кого-то вправо, всё покати-лось, поехало, перемешалось. Чей-то ствол ткнул меня в каску. Чей-то рюкзак прижал к борту так, что я не мог вздохнуть. Кто-то сверху упал на меня, и мы оба заматерились.

– Твою мать! – орал парень справа, пытаясь вытащить ногу из-под ящика.

– Держись! – кричал кто-то в ответ, но держаться было не за что.

Машина тряслась, прыгала на ухабах, кренилась на поворотах. Мы катались по кузову, как горох в банке, только горох был живой и матерился.

Где-то на середине пути я перестал понимать, где мои руки, где ноги, где чужой локоть, впившийся мне в ребра. Мы стали одним организмом – тридцать человек, сжатых в стальной коробке, несущейся в ночь.

Когда машина остановилась, мы не сразу поняли, что приехали.

Тишина после гула мотора казалась оглушительной. Тент откинули, и внутрь хлынул холодный ночной воздух. Он пах лесом, сыростью и ещё чем-то неуловимым, что потом будет сниться всю жизнь.

Вылезали долго. Тела затекли так, что не слушались. Ноги отказывались идти, руки не поднимались. Мы выползали из кузова, как раненые черви, хватаясь за борта, падая в грязь,

пытаясь разогнуть спины.

Вокруг была темнота. Только силуэты деревьев, только чёрное небо в крупных, наглых звездах, только чей-то голос впереди:

– Равняйся! Смирно! Добро пожаловать в «Грибы».

Мы не поняли тогда, что это значит. Но запомнили слово.

Часть вторая

«Грибы»

Лагерь назывался «Мухомор». Их было несколько – учебных центров, разбросанных по лесополосам. И все они носили грибные названия: «Поганец», «Сыроежка», «Опёнок», «Боровик». Наш был «Мухомор». Почему – никто не знал. Может, из-за цвета крыш. Может, из-за того, что внутри всё было ядовито-опасно. Может, просто для маскировки.

– «Грибы», – объяснил инструктор на первом построении. – Так называют наши лагеря. Запомните. В разговорах, в рациях, в письмах домой – только «грибы». Никаких названий, никаких координат. Мы – грибники. Понятно?

– Понятно! – гаркнули мы.

– Не слышу!

– ПОНЯТНО!

Лагерь стоял в лесополосе, изрезанной глубокими оврагами.

В склоны оврагов были врыты деревянные сооружения, больше похожие на входы в шахты, чем на жильё. Дверей не было – только занавески из туристических ковриков или старых спальников.

Внутри – двухъярусные нары, сколоченные из горбыля. Никаких матрасов. Только спальные мешки, туристические коврики и рюкзаки – они же подушки, они же столы, они же

единственное имущество.

В углах – буржуйки. В одной уже топили, и тепло, тяжёлое, сырое, смешивалось с холодом, тянущим от входа.

Никаких занавесок внутри не было. Вообще. Всё на виду. Тридцать человек в одном пространстве – спи, ешь, переодевайся, живи. Личное пространство начиналось там, где открывался спальник.

Застегнулся – и ты один. В своём коконе, в своём мире, в своей голове.

Вылез – ты часть общего организма.

Первое утро началось с подъёма.

В пять утра кто-то уже вставал, уходил на завтрак, собирался. Можно было поспать до шести – и тогда бегом на построение без еды.

Я выбрал золотую середину: половина шестого. И поспать чуть больше, и на завтрак успеть.

Выходил из землянки – и замирал. Лагерь просыпался. У костров грелись те, кто встал пораньше. Кто-то уже пил чай, кто-то просто курил, глядя в небо. Дым смешивался с туманом, поднимался к верхушкам деревьев, и казалось, что лагерь горит медленным, холодным огнём.

Плац был в полукилометре. Я шёл, проваливаясь в колеи, матерясь, выдирая ноги из чернозёма. Лёд хрустел под ногами, грязь чавкала, мат становился ритмичным.

Строй собирался долго.

Мы не были военными. Мы были сборной соляной: бывшие зеки, бывшие менеджеры, бывшие таксисты, бывшие мужья, бывшие отцы. У каждого была своя жизнь, и все эти жизни кончились здесь.

Имён у нас не было. Только позывные, полученные при подписании. Гвоздь, Септик, Латышка, Космос, Пельмень, Шпрот, Баклажан, Циклоп – строй звучал как зоопарк, как овощная база, как аптека.

Мы запоминали друг друга. Кто есть кто. Септик – угрюмый мужик лет сорока, молчаливый и надёжный. Латышка – здоровенный детина из Рязани, которого компьютер награждал за чем-то женским позывным. Космос – вечно сонный пацан, парящий в облаках. Пельмень – круглый, добродушный, всегда с шуткой.

– Номера! – орал старший группы.

Мы называли свои жетоны: цифры, буквы, комбинации. Память человеческая – штука капризная, особенно в шесть утра, особенно когда ты мокрый, грязный и хочешь спать.

– Гвоздь! Номер?

Я отчеканивал. Без запинки. Выучил.

Иногда кто-то не выходил на построение.

– Где Космос? – спрашивал командир.

– Спит, – отвечал кто-то из его землянки.

– Спит? – Командир улыбался. Это была страшная улыбка. – А ну, группа, за мной.

Мы шли к землянке. Вся толпа, всем строем, в грязи, в

темноте. Откидывали занавеску, заходили внутрь. Космос спал на нижних нарах, завернувшись в спальник с головой.

– Космос, подъём!

Ноль реакции.

– Космос, вставай!

Он переворачивался на другой бок.

– Выносите, – командовал командир.

Мы брались за спальник и несли его, как бревно, как куль с картошкой. Ставили в грязь перед строем. Космос просыпался, стоя в спальнике босиком, с глазами размером с чайное блюдце.

– Доброе утро, Космос. Займите своё место в строю.

Он занимал. Дрожал не столько от холода, сколько от стыда.

Больше Космос не просыпал.

Часть третья

Зима

Учебка пришлась на зиму.

Декабрь, январь – морозы, снег, оттепели. Чернозём превращался в ледяное месиво, колеи замерзали, и каждое утро начиналось с хруста льда под ногами. Мы мёрзли. Даже в спальниках, даже у буржеек. Спальники были мокрые от конденсата, одежда не просыхала, берцы никогда не были сухими.

– Тепло, – говорил инструктор, позывной Дед. – Вы сейчас думаете: главное – тепло. Поставлю печку, натоплю, заживу. А я вам скажу: тепло – не главное. Через месяц вы поймёте, что главное – не умереть. А согреться можно движением. Или просто привыкнуть.

Мы не верили, но привыкли.

Полигон находился в поле.

Кусок непаханой земли среди бескрайних пашен. Почему его не пахали – неизвестно. Может, земля была плохая, может, хозяин умер, может, просто забыли. Он стал нашим учебным местом.

Вокруг – чернозём, колеи, грязь. А здесь – твёрдая земля, поросшая жёсткой травой.

Инструкторы не орали, не унижали. Они учили: спокойно, терпеливо, по-деловому.

– Ваша задача, – говорил Дед, – довести всё до автоматизма. Чтобы, когда прилетит, вы не думали: «Ой, мамочка, страшно!» А просто падали, стреляли, бежали, перезаряжали. На войне думать некогда. На войне жить некогда. Надо успевать.

Отработка действий с оружием.

Вставить магазин – передёрнуть затвор. Снять магазин – убрать в подсумок – достать новый – вставить – передёрнуть. Сотни раз. Тысячи раз. Пока пальцы не сотрутся в кровь, пока тактические перчатки не протрутся до дыр.

– Магазин! – командует инструктор, и ты меняешь магазин, не глядя, на ощупь.

– Смена позиции! – И ты падаешь, перекатываешься, ползёшь, встаёшь, бежишь, снова падаешь.

– Граната! – И ты падаешь плашмя в грязь, в ледяную жижу, не думая, не разбирая.

– Контроль ствола! – напоминает инструктор. – Контроль курка! Всегда!

Мы контролировали. Даже когда падали, даже когда ползли, даже когда просто стояли в строю.

Между занятиями – минуты отдыха.

Мы разводили костры прямо на полигоне. Собирали сухие ветки, щепки, всё, что горит. Садились вокруг, грели руки, курили, молчали.

Лежали прямо на бронежилетах. Снимали разгрузку, подкладывали под спину, закрывали глаза. Пять минут – и солн-

це светит в лицо, и ветерок дует, и кажется, что ты не на войне, а на пикнике.

Пять минут – это бесконечность. За пять минут можно вспомнить всю жизнь. За пять минут можно забыть всё. За пять минут можно просто посидеть и ни о чём не думать.

Мы сидели и ни о чём не думали.

В туалет ходили с автоматом.

Это правило вбивали с первого дня. Никогда не выпускать оружие из рук. Всегда контроль ствола. Всегда контроль курка. Всегда быть готовым.

– Понимаете, – объяснял Дед, – вы сейчас в учебке. Здесь безопасно. Но привычка должна быть введена в подкорку, чтобы потом, там, вы даже срать садились с автоматом на коленях. Потому что тот, кто расслабляется, – умирает.

Мы садились. Автомат на коленях, палец на предохранителе, уши слушают, глаза смотрят.

Потом, через месяц, это спасло жизнь не одному.

Часть четвёртая

Быт

ПАЙКИ – это была отдельная тема. Сухой паёк – картонная коробка, в которой лежало всё, что нужно бойцу для счастья: банка тушёнки, две банки каши, паштет в банке, галеты, шоколад, чай, кофе, сахар, джем.

В первый день это казалось пищей богов. Мы ели и нахваливали. На второй день – просто ели. На третий – начинали ворчать. На четвёртый – готовы были убить за что-нибудь свежее. На пятый – привыкли.

– Знаете, – сказал как-то Латышка, жуя галету, – я раньше в рестораны ходил. Устрицы, фуа-гра, трюфели. А теперь ем это и кайфую. Потому что это – жизнь. Мы засмеялись. Но он был прав.

Разговоры у буржуйки.

Вечером, когда занятия заканчивались, мы собирались вокруг печки. Кто на нарах, кто на ящиках, кто просто на корточках. Курили, грели руки, говорили.

Говорили о разном: о доме, о семьях, о работе, о том, что будем делать после войны. Кто-то мечтал открыть бизнес. Кто-то – купить машину. Кто-то – просто вернуться и обнять жену. Никто не говорил о смерти. Хотя все знали: вернётся каждый десятый.

– Слышь, – сказал однажды Космос. – А ведь мы сюда через полгода вернёмся. Только из нас тут никого не будет.

– Почему?

– Потому что те, кто выживет, сюда не вернуться. Зачем? А те, кто не выживет... ну, ты понял.

Мы помолчали.

– А лагерь будет стоять, – продолжил Космос. – И другие будут приезжать. И так же будут строить строй по утрам, и так же будут падать в грязь, и так же будут сидеть у костров. А нас не будет.

– Философ, – усмехнулся кто-то.

– Нет. Просто вижу.

Буржуйка гудела. Мы кашляли, тёрли глаза, но не уходили. У печки было тепло.

Ночные подъёмы по тревоге.

Землянка погружалась в темноту – светомаскировка. Крики: «Тревога! Подъем!» – и ты вскакиваешь с нар, ничего не видя, на ощупь ищешь своё снаряжение.

Берцы. Где берцы? Под нарами. Разгрузка. Где разгрузка? Висела на гвозде. Автомат. Где автомат? Стоял в углу.

Ты собираешь себя по частям, как конструктор. Пальцы дрожат, путаются в ремнях, застёжках. Кто-то рядом матерится – надел штаны задом наперёд.

Через минуту ты должен выбежать наружу, построиться. Через минуту – это много. В бою на сборы дают секунды.

Мы бежали в темноту, на плац, строились, дрожали от холода и ждали команды. Потом бежали обратно, ложились и снова – тревога. И так по пять раз за ночь.

К концу второй недели мы научились собираться за тридцать секунд, потом за двадцать, потом за десять. Это ох как пригодились потом.

Часть пятая

Марш-бросок

О нём говорили много.

Марш-бросок был легендой, мифом, страшилкой для новичков. Говорили, что его придумали специально, чтобы сломать тех, кто ещё держится. Говорили, что после него люди седеют. Мы не верили, но готовились.

Началось на рассвете. Построили, пересчитали, выдали дополнительный боекомплект. Ящики с патронами, гранаты, сухпай на трое суток. Рюкзаки раздулись, как шары. Лямки врезались в плечи.

– Загружаемся! – скомандовал Дед.

Мы полезли в «Урал». Теперь, наученные опытом, загрузились быстро и плотно. Пятьдесят человек, ящики, рюкзаки – всё встало как влитое. Я сидел на корточках, прижатый к борту, и в спину мне упирался чей-то ствол. Нормально. Привычно.

Машина тронулась. Час тряски по просёлку – и мы на месте.

– Бегом! – скомандовал Дед.

Мы выпрыгнули и побежали. Сначала по полю: пашня, чернозём, колеи. Ноги увязали, дыхание сбивалось. Через километр я понял, что рюкзак весит тонну, а ботинки – два пуда грязи.

Потом начались овраги. Овраги здесь были глубокие, с крутыми склонами. В оттепель они превратились в грязевые реки. Снег растаял, земля раскисла, и каждый шаг давался с трудом.

Подъём на склон – это было восхождение на Эльбрус. Только без ледорубов, без страховки, без кислородных масок. Ноги скользили, руки хватались за корни, рюкзак тянул назад. Мы поднимались цепочкой, держась за автоматы друг друга. Один поскользнулся – двое держат. Двое поскользнулись – трое держат. Если падаешь, вставай. Если не можешь встать – ползи. Если не можешь ползти – тебя потащат.

Бросать никого нельзя. Это правило вбили так же крепко, как контроль курка. Тот, кто отстал, – не отстал. Он просто идёт медленнее, и его надо подождать.

На марше мы несли двоих. Первый – Цыган, высокий парень из Ростова. У него подвернулась нога, стопа распухла. Мы сделали носилки из автоматов – скрестили стволы, набросили куртки, посадили сверху. Второй – Космос. Он просто выдохся. Упал лицом в грязь и лежал. Мы подняли, дали воды. Через километр упал снова. Тогда взяли под руки и потащили.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.